

СОДЕРЖАНИЕ

	Предисловие. Б. Покровский. Актриса	5
ЧАСТЬ	ГАЛЬКА-АРТИСТКА	
I	Глава 1. Детство	17
	Глава 2. Война. Блокада	52
	Глава 3. Начало пути	68
	Глава 4. Театр оперетты	73
	Глава 5. Арест отца. Смерть матери	86
	Глава 6. Вера Николаевна Гарина	95
	Глава 7. Жить или петь?	100
ЧАСТЬ	БОЛЬШОЙ ТЕАТР	
II	Глава 1. Новый мир	125
	Глава 2. Первые премьеры	161
	Глава 3. Жизнь артиста в СССР	173
	Глава 4. Любовь	192
	Глава 5. Атмосфера зрительного зала	232
	Глава 6. Жизнь после XX съезда	244
	Глава 7. Рождение ребенка	251
ЧАСТЬ	И ПОЗНАЕТЕ ИСТИНУ...	
III	Глава 1. Дмитрий Дмитриевич Шостакович	267
	Глава 2. Травля Бориса Пастернака	324
	Глава 3. Любимые образы	331
	Глава 4. Рождение Елены	348

Глава 5. Вокальные циклы	356
Глава 6. Тринадцатая симфония Шостаковича	371
Глава 7. Зарубежные гастролы	385
Глава 8. Александр Шамильевич Мелик-Пашаев.....	420
Глава 9. Чистка памяти.....	449
Глава 10. Ла Скала.....	455
Глава 11. Фильм-опера «Катерина Измайлова».....	473
Глава 12. Бенджамин Бриттен, Питер Пирс.....	498
Глава 13. Чехословацкие события	519

ЧАСТЬ ТРАВЛЯ И ОТЪЕЗД

IV Глава 1. Солженицын, Сахаров, Шостакович.....	529
Глава 2. Наша семейная жизнь.....	546
Глава 3. Травля Солженицына.....	552
Глава 4. Травля Ростроповича.....	573
Глава 5. Происшествия в «Тоске».....	584
Глава 6. Унижение таланта.....	589
Глава 7. Бойкот прессы.....	597
Глава 8. Доносы и предательства.....	606
Глава 9. Отъезд Славы.....	621
Глава 10. Прощание с Большим театром.....	641
Глава 11. Мой отъезд с детьми.....	658

ПРИЛОЖЕНИЕ

«Дело» М. Л. Ростроповича и Г. П. Вишневской.....	671
Оперные и концертные премьеры	734
Спектакли Центра оперного пения	737
Награды и почетные звания	738
Персоналии	739
Фотоприложение	761

Предисловие. Актриса

Под этим словом здесь я разумею Галину Павловну Вишневскую — выдающуюся оперную певицу, актрису, которая откуда-то вдруг появилась в Большом театре. Нежданно-негаданно, никому не известная, но совершенно готовая, в высшей мере профессионал! Совершенно готовая для того, чтобы стать первоклассным исполнителем любой партии, любой роли; совершенно готовая для любого концерта, любой репетиции; совершенно готовая для того, чтобы мгновенно стать лидером актерского цеха прославленного Большого театра. Совершенно готовая!

Как будто кто-то свыше для проверки нашего художественного чутья и справедливости заслал к нам молодую, красивую, умную, энергичную женщину с экстраординарными музыкально-вокальными данными, уже кем-то, когда-то отработанными, отшлифованными, натренированными, с актерским обаянием, темпераментом, природным сценическим самочувствием и ядовито-дерзкой правдой на устах.

Актриса!

Где воспитывалась, у кого училась, откуда взялась, кто рекомендовал, где справки о победах на конкурсах? На эти вопросы никто ответы так и не получил — за ненадобностью. Очень скоро Вишневская сама начала учить, воспитывать, тренировать и судить на конкурсах.

А пока судьба ехидно ждала, оценим ли мы жемчужное зерно. Сначала растерялись, когда услышали, что в Бетховенском зале, где проходят предварительные пробы для поступающих в театр,

претендентка на стажерское место запросто решила проблемы вокализирования в арии Аиды — те, что встают на каждой репетиции, спевке, оркестровой репетиции и портят настроение у исполнителей и слушателей на спектакле. Потом — обрадовались, не веря глазам и ушам своим.

Зерно оценило само себя, по истинной, цивилизованной эстетической стоимости. Спорить было трудно. Обсуждать — бессмысленно. Сами собой выстраивались перспективы, планы. Сами собой! Татьяна, Аида, Купава, может быть, Фиделио? Нет, конечно, для начала, для приличия, пусть — паж в «Риголетто», Стеша в «Псковитянке». Но это только для начала!

Итак, Вишневская сразу влетела в небольшой тогда список ведущих артисток Большого театра. Когда прошло время удивлений, надежд и радостей, началась трудовая деятельность артистки в театре, планомерная, регулярная, профессиональная. Актриса!

К тому, что в театре есть Вишневская, привыкли быстро, к ее отсутствию — привыкнуть трудно до сих пор. Что главное? Профессиональность! Это свойство редкое среди артистов. Среди оперных оно, увы, почти не встречается. Профессиональность оперного артиста должна быть соединением многих природных данных (голос, музыкальность, внешность, способности к сцене, воля), которые должны быть натренированы каждое в отдельности и (что самое трудное) соединены гармонично, по способностям и возможностям индивидуальности, специфической, личностно-человеческой неповторимости. Если этого нет, фальшь будет непременным спутником всех творческих усилий артиста.

У Вишневской был комплекс, в котором все оперно-артистические свойства были проявлены и ярко, и гармонично; вместе, в ансамбле, в разных взаимоотношениях.

Говоря об этом упрощенно и даже вульгарно, отметим: игра и пение артистки подчинены друг другу во имя действующего на сцене персонажа. Эта формула широко известна, но трудно и редко достижима.

Татьяна Ларина стоит у окна, она еле видна, недвижима. Звучит труднодоступное многим (а потому, может быть, и не очень уважаемое!) пианиссимо в голосе. Сценическое состояние девушки рождается в этот момент...

Под звуки вальса Наташа Ростова непроизвольно чуть дотрагивается до своей обнаженной шеи. Она чувствует взгляд Анатоля. Их дуэт уже начался, хотя не пропето еще ни одной ноты...

Полина целует руку Бабуленьке — обычная церемония приветствия. Но здесь стоит Алексей, поцелуй рождает их будущее объяснение...

Где тут пение, где игра?

Торжествует единство, столь пугающее мало посвященных в дела театра (оперы) дирижеров.

Конечно, работать с такой актрисой было интересно, легко (и трудно), всегда продуктивно. Казалось, что эта актриса была мне послана в благодарность за муки, терпение, разочарования, испытанные в работе со многими, ох, многими, артистами оперы.

Никогда я не видел, чтобы она, входя на репетицию, уже не была готова к ней немедленно, сию минуту. Впрочем, она уже в уме репетировала сцену, и именно так, как я ее себе представлял.

— Откуда вы взяли, что именно этого я и хотел?

— Ха! Разве я вас не знаю?!

Чувство логики театра, творческая догадливость, энергия лидерства (умение брать сцену на себя) — важные черты для ведущей актрисы.

Вишневская сильна доверием к режиссеру, все, что он думает, — ее мысли, что предлагает сделать — ее желание.

Она свободна от сомнений и подозрительности, встречает каждое замечание как дорогого гостя. Предложение режиссера — ее творческий импульс.

Свобода творчества актера включает веру в режиссера, его творческое воображение. Его право и мастерство в мгновение ока актеру надо присвоить себе; сделать своею собственностью все, что тот думает, чувствует, предпочитает.

— Откуда же выходит Тоска?

— Из середины, — отвечаю я, — вон из самой дальней точки, из темноты. Постепенно, долго, долго она идет на публику... с цветами и любовью... идет, идет...

— В красном платье! — вдруг вскрикивает Актриса. — Как факел или...

Откуда же она узнала, что я думал о красном платье, но не решился ей об этом сказать, так как еще вчера она мечтала о фасоне, в котором выходила знаменитая... на весь мир...

На репетиции говорю:

— В этом месте...

— Да-да, — перебивает Актриса меня, — надо вскочить и потом опять быстро сесть.

Правильно! Откуда она догадалась?

И еще.

— Комнатка, в которой вы сидите, начнет постепенно подниматься. Все выше, выше. Вы в ней на самом верху. — Жду нормальной для оперного театра фразы: «О нет, я боюсь». — Она сидит там и ждет, ждет... ежится от холода на диване... кутается в платок... только глаза, которые не мигают... она видит, как он гибнет...

Не знаю, говорю ли это я, или она, может быть, вместе?

Во все время работы я ни разу не видел и не слышал хоть чуточку сомнений, недоумения, усилия понять, растерянности. О возражении не могло быть и речи!

Одержимость в труде. Удовольствие. Энергия. Страсть. Однако все это может привести к анархии, неорганизованности, бессмыслице. Работа же Вишневской всегда была расчетлива и гармонична.

Расчет есть тоже художественное средство творческого процесса, материал в строительстве роли. Без гармоничной завязки всех факторов и дозировки их не состоится комплекс сценического самочувствия оперного актера.

Чему все это подчинено у Вишневской? Воображению.

В свое время в одной статье я назвал ее хамелеоном, актрисой-хамелеоном. Ей так нравится менять личину в соответствии с обстановкой, что она не пренебрегает этим удовольствием и в жизни. Чаще проявляется это бессознательно и мгновенно. Под влиянием обстановки меняется пластика движений, манера говорить, появляются новые характерные признаки поведения. Она остро воспринимает предлагаемые обстоятельства и быстро приспосабливается к ним.

Вишневская всегда живет двумя параллельными жизнями, как полагается жить на сцене. Она, во-первых, простая, искренняя



Галина Вишневская с Борисом Покровским

(может быть, чересчур искренняя) и откровенная (может быть, чересчур откровенная) женщина; она, во-вторых, воображаемый в это время образ. Это, так сказать, игра в свой собственный жизненный театр; это — своеобразный способ жить.

Эта способность быстро, предельно органично подчинять воображение обстоятельствам помогала на сцене сразу, без оглядки кидаться каждый раз в новую для нее жизнь персонажа, как в давно известную, родную стихию.

Отсюда и самоотверженная любовь к своей профессии, радость репетиционного труда, а о спектаклях и говорить нечего, каждый — праздник! Слияние таланта с любимым трудом делало карьеру Вишневской в театре искрометной и естественной.

У каждого таланта есть свои опасности. Творчеству Вишневской часто мешала легкая, быстро ударяющая подражательность, снова хамелеонство! Отсюда разное качество ролей: а) созданные роли; б) исполненные роли. Одни — ее открытия, часто уникальные для себя и для нас; другие — хорошо, мастерски исполненные, приносящие шумный успех у привыкших к определенному стандарту меломанов.

К первым принадлежит Купава, которую Актриса никогда раньше на сцене не видела. Здесь она участвовала в подготовке нового спектакля, а для настоящих артистов это намного предпочтительнее, чем ввод в уже готовый, давно идущий. Это было сжигающее всех любвеобилие. Фиделио — новое, совершенно непохожее на немецкую традицию создание. Катарина в опере В. Шебалина «Укрощение строптивой» была новостью, ибо она была не столько строптивая, сколько умная и честная! Полина (опера С. Прокофьева «Игрок») — мятущаяся гордячка, заблудившаяся в обстоятельствах любви и чести. Катерина Измайлова (в кино) — женская тайна, недоступная даже для нее самой. Наташа Ростова — неизведанный мир радостей и разочарований. Все заново!

Но вот Виолетта, Баттерфляй, Марфа, Аида, Маргарита были хорошими, но уже прочитанными книгами. В этих ролях она имела большой успех и с удовольствием хамелеонствовала в принятых «звездами» условиях. Здесь предлагаемые обстоятельства: «Я — знаменитая артистка!» — рождали неизменный восторг зрителей.

Г. П. Вишневская сполна ощущала разницу между созданием, долгой и кропотливой работой, своего образа и высокого сорта штампом в известном, проверенном, наверняка приносящем успех репертуаре. В первом случае проявилась ее театральность — свойство для певиц редкое, а значит, и драгоценное. (Вот Вишневская, которую я люблю.) Во втором — высокое мастерство приспособляемости. (Это любили поклонники.)

Г. П. Вишневская должна была сочетать «два пути». Это теперь в наших воспоминаниях мы объединяем ее Полину с Аидой, миссис Форд с Татьяной, Наташу Ростову с Баттерфляй, Измайлову с Виолеттой... В то время на «открытиях» прожить было опасно и трудно. Да и зачем терять право на взаимное с публикой наслаждение от освященных восторгами поколений традиционных ролей?

Галина Павловна, конечно, и сама умница, и сама имеет прекрасный вкус, но «взгляд вперед» ей, может быть, привил ее супруг? Во всяком случае, и я чувствовал на себе его влияние. Но надо определить для себя веру, тенденцию художественной жизни, за кем идти! Куда? Путь открытий требует концепционного мышления; другой путь хорошо протоптан, идти по нему неопасно, даже если осмелишься пересмотреть традицию. «Нечистый» лукав, он

все время шепчет: хочешь успеха — ставь «Аиду», «Кармен»; с современными авторами пропадешь, как бездомная собака, наплачешься со своими Шостаковичами, Бриттенами, Стравинскими. «Зачем Вишневской нужен был риск с этим Пуленком с телефоном, если вчера ее на “Аиде” засыпали цветами, да и за рубежом тоже...»

Вишневская жадна, ей хочется быть всякой, Кармен в том числе. Хочется блистать во что бы то ни стало! Хорошо и в оперетте. Много перьев на голове, шикарный костюм — сенсация! (Этого хотелось и публике!) Но стоп! Иди по грязи в лохмотьях, рыдай над озером («Катерина Измайлова»), ползай в мрачную комнату Пуленка. Жертвенность, счастливая для талантливого актера жертвенность!

Чтобы объективно оценить художественного деятеля, надо узнать, что он создал нового, оригинального и самобытного. Ф. И. Шаляпин — пример создателя. Традиционный репертуар большой оперы — тиски, из которых удается вырваться в новый мир ценой больших усилий, смелости, воли. Чтобы укрепить свои способности, быть современной, Галине Павловне надо было выйти на концертную эстраду с произведениями выдающихся композиторов. Сегодня вздохи бедной Лизы, влюбленной в картежника, завтра — стихи Саши Черного; сегодня — трагический мир Мусоргского, завтра — сентиментальные фиоритуры несчастной куртизанки. Жадность? Да, но и профессиональное любопытство, непрерывное протискивание вперед, как бы это трудно ни было.

Г. П. Вишневской в работе над новой ролью надо увидеть свой персонаж. (Как увидел в поезде своего Базилио Ф. И. Шаляпин.) Не услышать, а, слушая, увидеть, ибо музыка — искусство абстрактное и не занимается деталями конкретной жизни на бренной земле; слышат ее по-разному, кому как дано. Часто все начинается с костюма (ничего не поделаешь, женщина!) — цвет, покрой, стиль. Она любит и может «прыгать» в роль смело и рискованно, но для этого нужна катапульта или хотя бы трамплин. Ими могут служить эффектная ария, скромная словесная фраза, сценическая ситуация или простой зрелищный трюк. В «Тоске» этому служил выход, он определил зерно образа — актриса! Она остается ею, когда любит Марио, ненавидит или обманывает Скарпию. Даже после убийства негодяя она подсознательно устраивает спектакль ужаса и страха.

В «Игроке» она металась. Метания — весь первый акт. А когда оказалась в тесной каморке, где двигаться ей физически было невозможно, она сидела или стояла, но все равно... металась.

От костюма — к пластике; пластика связана с темпоритмом, данным музыкой. Отсюда вокальная манера и музицирование. Возникает элемент интонационной выразительности. Целая цепь взаимосвязанных звеньев из арсенала оперного артиста — словно клавиатура у пианиста.

Комплексное прощупывание персонажа в начале работы над ролью очень важно для оперного артиста, но все решается в тесной взаимосвязи, перманентно корректируемой изложенными в партитуре чувствами. В самом деле, что толку, если актер сочинит в своем воображении действующее лицо, которое, как окажется, живет в музыкальном потоке совершенно иначе.

Вишневской очень помогало гармоничное владение сразу всеми выразительными средствами. Каждое, естественно, находило свое место, получало свое право и назначение в актерском синтезе.

Тут была важна и трудовая дисциплина в спектакле. Вот пример. В опере «Война и мир» эпизоды идут подряд. В первых сплошь занята Наташа Ростова. Ситуации, места действия, атмосфера — разные. Остановки между эпизодами для необходимых переодеваний артистки неизбежны и... крайне нежелательны для течения спектакля. Даю задание: на переодевание имеется от сорока секунд до одной минуты. Никак нельзя? А где же актерский азарт? Задание выполнено! Сложность и эффект костюмов не нарушены. Быстрота появлений Наташи в разных жизненных ситуациях — важный фактор в развитии образа. Артистка это поняла. Дальше с этой проблемой я не возился. Ставил оперу много раз с разными исполнительницами — все успевали, всех подгонял прецедент Вишневской. (Актер может сделать абсолютно все, что не сможет сделать нормальный человек, лишь бы захотел!) Отставать от Вишневской, хотя бы в этом, уже никто себе не позволял.

Актерский азарт питается все тем же — стремлением к успеху, здесь рождается энергия, убить которую может лишь равнодушие.

Уход Вишневской из театра лишил труппу лидера. Нет, конечно, в то время были и другие достойные и знаменитые певцы в Большом театре. Но в плане влияния, в плане примера высокоорганизованного творческого труда Вишневская была уникальна.

А потому уход ее сразу сказался на общем уровне профессионализма, во всяком случае следующего поколения молодых актеров. Очень заметно стало его понижение. Энергия дилетантствующего разгула победила вкус и чувство меры в выборе художественных средств воздействия.

Свое влияние Вишневская чувствовала, этому радовалась, этому способствовала. Большой театр становился ее домом. Она была не гастролерша, добывающая на сцене Большого театра права на международную арену и подчиняющая собственным интересам свою деятельность в нем; специфика репертуарных традиций Большого театра была превыше всего.

Она — Артистка Большого театра! Такой чувствовала себя на многочисленных гастролях за рубежом. Каково же было терять ей духовные связи со своим, священным для нее домом?

Да, за рубежом — спектакли, концерты, успех, награды... Но насильственный разрыв с Большим театром невозместим!

Актриса с большой буквы, она вынуждена была расстаться с Большим театром в пору своей творческой зрелости, успеха, известности. Почему? Почему театр должен был лишиться одной из своих главных художественных сил? Потому что нравственная ответственность Актрисы перед судьбой мужа, великого музыканта, победила даже любовь к Большому театру.

*Борис Покровский**

* Текст печатается по кн.: Покровский Б. Когда выгоняют из Большого театра. — М.: Изд-во «Артист. Режиссер. Театр» СТД РСФСР, 1992.

ЧАСТЬ I | ГАЛЬКА-АРТИСТКА



Глава 1 | Детство

Яркий солнечный день... Я бегу по зеленому изумрудному лугу — мне неполных четыре года — и с размаха вслед за мальчишками прыгаю с крутого берега в речку... В памяти навсегда остался мутно-зеленый цвет воды, я стою на дне, сжимая и разжимая ладошки вытянутых на поверхность рук — вероятно, чтобы ухватиться за что-то... Мои руки и увидели с берега взрослые и вытащили меня. Я, наверное, не успела испугаться, но помню, что отлупила меня мать как следует. А я ревела и не понимала, почему меня ругают, а мальчишек — нет. Почему им можно нырять, а мне нельзя? Как это так — я не умею плавать? Раз они умеют — значит, и я умею! Вероятно, тогда я впервые пыталась отстаивать свое человеческое достоинство и право на свободу действий.

Это лето — 1930 года — я живу с матерью и отцом «на даче», в небольшой деревне. Взяли меня от бабушки — погостить.

Я не помню своей привязанности к родителям — они всегда были мне чужими. Возможно, оттого, что с самого младенчества — шести недель — меня взяла на воспитание бабушка и все мое детство я слышала обращенное ко мне жалостливое слово «сиротка».

Моя мать — наполовину цыганка, наполовину полька: мать ее была цыганкой, но я никогда не знала деда и бабушку с материнской стороны — они умерли еще до моего рождения.

Когда мой отец впервые увидел свою будущую жену, ему было лишь 20 лет, ей же не исполнилось и восемнадцати. Незадолго перед тем порвав со своим прежним возлюбленным, беременная от него, она переживала тогда свою первую жизненную драму. Мой



Отец — Павел Андреевич



Мать — Зинаида Антоновна

отец полюбил ее и женился на ней. Вскоре она родила сына, а через два года появилась я. Мать была очень красива — среднего роста, черноглазая блондинка, с длинными, стройными ногами. Помню ее поразительно красивые руки. Но я всегда восхищалась ею как бы со стороны, она никогда не была «моей».

Наверное, от нее — в крови — передалась мне страсть к пению: она играла на гитаре, пела цыганские романсы, а я, конечно, за нею повторяла «Очи черные», «Бирюзовые колечки» или городские романсы. Бывало, соберутся гости, и тут же: «Галя, спой!» В таких случаях я почему-то залезала под стол. Публики я совершенно не боялась — наоборот, очень рано почувствовала в ней потребность: петь для себя самой было неинтересно, нужны были соперники, сочувствующие. Но, вероятно, мне хотелось особой, таинственной атмосферы, хотелось уйти от реальности и создать свой мир. И вот из-под стола несется: «Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекра-а-асные...» Мне только три года, а голос мой как у взрослой. Я родилась с поставленным от природы голосом, и окружающим странно было слышать такой сильный грудной звук, воспроизводимый горлом совсем маленькой девочки.

Услышав аплодисменты, я вылезала из-под стола, раскланивалась и, окрыленная успехом, начинала изображать то, что пою. Вот такая, например, песенка:

Девушку из маленькой таверны
Полюбил суровый капитан,
Девушку с глазами дикой серны
И с улыбкой, как ночной туман.

Я исполняла этот «шедевр», стоя на стуле, — такая мизансцена казалась мне очень эффектной, потому что, когда подходил смертный час несчастной девицы «с глазами дикой серны», можно было кинуться в море с маяка (то есть со стула на пол) и изображать утопленницу. Все были в восторге. Тут же я плясала цыганочку, трясла-поводила плечами и кричала: «Чавелла!»

У матери, от природы музыкальной, был небольшой приятный голос. Отца Бог наградил замечательным драматическим тенором. Когда-то он мечтал стать певцом, но, как многие русские люди, был подвержен «слабости», весьма распространенной, — пьянству.

Напившись, любил петь ариозо Германа из «Пиковой дамы»:

Что наша жизнь? — Игра!

Тот единственный год, что я прожила со своими родителями, оставил в моей памяти лишь несколько коротких, но на всю жизнь четко запомнившихся эпизодов.

Вот я сижу у окна нашей «дачи». Это такая же изба, как и все остальные в деревне, только чистая, с ситцевыми занавесками на окнах, да еще с городской мебелью. Осенняя слякоть, идет дождь, но по улице бегут люди, что-то крича и плача. Из распахнутых дверей избы напротив какие-то мужчины выволакивают узлы, кастрюли, одеяла, подушки и кидают в телегу, запряженную тощей лошастью. Рядом стоит хозяйка избы, за ее подол ухватились ревущие дети, с которыми я всегда играю на улице. А у телеги мечется и воет их бабка. Она вцепилась своими корявыми руками в медный самовар, и ни за что не хочет отдавать его двум здоровенным мужикам, и все кричит только одно:

— Ироды!.. Ироды!.. Ироды!..

В детскую память навсегда врезалась картина того осеннего хмурого дня: грязная дорога, толпа крестьян, и на их серо-черном фоне — прыгающий в руках старухи ярко-желтый, блестящий солнцем медный самовар. И еще — впервые услышанное странное слово «ироды».

Через много лет я пойму, что это было начало коллективизации, «раскулачивание», что мой детский мозг запечатлел картину разорения русского крестьянства.

А вот мы с матерью идем лесной дорогой, и вдруг из машины, идущей навстречу, какой-то мужчина на ходу выбрасывает нам две буханки хлеба. Мать прячет эти сокровища в сумку, а мне велит никому не рассказывать. Того незнакомца я встречу потом у нас в доме.

Я очень хорошо понимаю, что мать не любит отца. Когда его нет дома, появляются мужчины, мать совершенно преображается, становится еще красивей. Мне кажется, что она и меня не любит. Я за нею тихонько наблюдаю, подсматриваю — каким-то странным чутьем ощущаю, что мать меня боится — боится, что расскажу отцу. Меня это ужасно обижает. Когда отец дома, то и дня не проходит без скандала — наверное, соседи рассказывают ему, что в его отсутствие часто бывают гости.

Однажды ночью я проснулась от крика: мать в одной рубашке бегала по комнате, а за нею с топором в руке — пьяный, совершенно обезумевший отец. Я закричала — вероятно, он опомнился, во всяком случае удар пришелся не по матери, а по зеркальному шкафу. Грохот был страшный, зеркало разлетелось вдребезги. Отец схватил меня, кричит:

— Говори, кто был у мамы? Какой мужчина? Как его зовут?

Я видела устремленные на меня огромные глаза матери — она не умоляла молчать, она просто на меня смотрела. Возможно, я впервые почувствовала, что никогда не буду предательницей, — бессознательно, как маленькая женщина, я встала на сторону матери, хотя и не была к ней близка и хорошо знала, «как его зовут».

— Был здесь кто без меня?

— Не был.

— Врешь! Говори правду — или убью! Кто был у матери?

— Никого не было.



Галя с мамой и братом. 1930 год

К утру скандал начал стихать. Решили разъехаться. Женаты они были всего пять лет. Отец спросил меня:

— С кем ты хочешь жить — с мамой или со мной?

— С тобой.

Это значило, что с бабушкой. С матерью я рассталась как с чужой женщиной.

Когда я родилась, мать посмотрела на меня и отвернулась:

— Унесите ее, какая некрасивая!

Я в самом деле родилась маленькой, некрасивой обезьянкой — вся волосатая, даже лицо в волосах, да еще недоношенная. Но горластая невероятно — все время требовала есть, а мать грудь не давала. В трудный час своей жизни, с отчаянья вышла она замуж за моего отца, не любя его, и это равнодушие перешло и на меня. А сына своего она обожала.

Тогда меня, шестинедельную, взяла к себе бабушка, мать отца Дарья Александровна Иванова, и увезла в Кронштадт, где она жила с дедушкой, замужней дочерью — тетей Катей — и неженатым младшим сыном Андреем. Бабушка, конечно, умела нянчить детей. Тут



Дед — Андрей Андреевич Иванов



Сидят: тетя Паша и дедушка Андрей Иванов; стоят: бабушка Дарья и ее брат Кузьма Волков

же нашла женщину, у которой в те голодные годы чудом сохранилась коза, брала у нее молоко и кормила меня из соски, а по вечерам, когда плита в кухне остывала, клала меня в теплую духовку — так и vyhаживала. А то еще нажует хлеба в тряпку — и мне в рот. Лишь бы молчала.

Мои дедушка и бабушка — русские, из Вологодской губернии. Дед, Андрей Андреевич Иванов, рабочий-печник, был замечательный мастер своего дела, золотые руки. До сих пор во многих старых домах Кронштадта стоят сложенные им красивые изразцовые печи и камины. Поселились они в Кронштадте задолго до революции, нарожали восемь детей. Четверо умерли, остались две дочери и два сына. Все получили образование — в гимназии или в реальном училище, хотя дед работал один. Перешли в другое сословие — кроме младшего сына Андрея: тот пошел по стопам отца, стал печным

мастером. Ну, и была, конечно, у деда «слабость» — пил горькую, по русской традиции, да еще с запоями. Но в пьяном виде не буянил. Я его помню смутно. Знаю, что любил он меня и звал «Вишенка» за черные глаза. Потом цвет глаз у меня изменился — стали зелеными.

Дед был добрый, всегда нес мне гостинец — то конфету, то пряник, а я ему пела. Я любила его и ждала, когда он придет с работы. Сажу в коридоре на полу и слушаю. По шагам узнавала — пьяный он или трезвый. Если был пьян, то дверь открывал сразу нараспашку. Становился в дверях, как портрет, выдерживал паузу, потом медленно всех оглядывал и изрекал с величием и достоинством всегда одно и то же:

— Значит, это я... — пауза, — Андрей Андреич Иванов!

Я, конечно, сразу тащила ему опорки (это обрезанные валенки — вместо тапочек, мы все так ходили), а он мне — гостинец:

— Вишенка ты моя!

Бабушка, конечно, его ругает, а он ничего — молчит, улыбается. Потом пофилософствует с соседями — и спать.

Умер он ужасно. От пьянства у него была язва желудка, и однажды, когда случился приступ, страшные боли в животе (конечно, еще и пьян был), он налил в бутылку кипятку, заткнул ее резиновой пробкой, положил себе на живот и лег в постель. Пробка выскочила, и кипяток — ему в глаза. Рожистое воспаление, заражение крови — и его не стало. Тогда мы получили фотографию — дедушка в гробу, и у него все лицо забинтовано. Умер он еще молодым — не дожил и до шестидесяти — в 1930 году, когда мои родители развелись.

И вот я уже зимой этого года с тетей Катей и ее сыном Борисом, который моложе меня на два года, идем по льду Финского залива. Она приехала в Ленинград, чтобы забрать меня и отвезти в Кронштадт к бабушке. Потом мы садимся в холодный автобус, окна замерзшие, ничего не видно... Иду по улицам Кронштадта, как будто никогда раньше здесь не была. Конечно, я еще мала, мне нет и пяти лет, и я только теперь начинаю сознательно воспринимать мир. Вхожу в нашу квартиру на третьем этаже, на проспекте Ленина, — все незнакомо, а ведь уезжала отсюда только на год.

С этого времени могу восстановить в памяти всю мою жизнь. Очень хорошо помню тот день, когда я, как дикий зверек, перешаг-



Галя. 7 лет

нула порог бабушкиной квартиры и насупившись всех разглядывала. Детскую душу переполняло чувство большой обиды на мать, на отца, что подбросили к людям, хоть и к родне. К бабушке даже не подошла, ни с кем не поздоровалась. Бабка, видно, обиделась:

— Ну, чего надулась как бык вологодский? Здравствуй!..

А я молчу, не подхожу.

— Эх, цыганское отродье, матушкина порода...

Я была неласковым ребенком. Неудовлетворенное чувство любви, отвергнутое матерью, надолго спряталось, закрылось в моем сердце, и прошло много лет, прежде чем я узнала, что такое отдавать и получать любовь.

А тогда я угрюмо смотрела на всех и не хотела, отталкивала от себя ласку окружавших меня людей. Я видела, что они меня, «сиротку», жалеют, и все мое детское нутро протестовало против этой унижительной жалости...

И когда со временем от тепла бабушкиной любви стала я оттаивать, долго еще не могла избавиться от внутренней неловкости, от боязни открыто проявлять свои чувства.

Бабушка моя из крестьянской семьи. Худенькая, небольшого роста, очень энергичная — целый день на ногах. Рано утром уже бежит на базар, в магазин, чтобы подешевле купить что-нибудь для еды. Получала она после дедушки пенсию — 40 рублей в месяц, а масло в то время стоило 16 рублей килограмм. Как мы умудрялись жить — не понимаю. Отец подбросил меня в Кронштадт — и забыл, денег не посылал. Бабушка стирала белье на чужих, шила — этим и жили. Любила водочки, конечно, выпить. Одиннадцатого числа каждого месяца она получала свою пенсию и по дороге домой покупала себе «маленькую» за 3 рубля 15 копеек. Чекушку держала в буфете. Бывало, убирает, готовит, стирает, потом подойдет к буфету и рюмочку выпьет — так, глядишь, к вечеру чекушку и прикончит. Но это только с пенсии или с получки Андрея. Еще она курила папиросы, самые дешевые — «Ракета», 35 копеек стоили, она меня за ними в лавку посылала.

Было у нее несколько подруг. Обычно собирались они у нас дома в день пенсии. Выпьют, песни начинают петь. А потом, самое главное — поговорить хочется, а я сижу мешаю.

— Поди, Галенька, погуляй!

— Да не хочется, я уж с вами посижу.

— Смотри, вон твои подружки во дворе, а ты одна дома сидишь.

— Да нет, не пойду... тут лучше...

А сама тяну время — знаю, что бабки сейчас начнут собирать по 20 копеек мне на мороженое. Ну, соберу с них дань — и на улицу до вечера. Вообще меня бабушка очень баловала — не по карману, как говорится, и росла я белоручкой — чашки за собой не давала мне вымыть. Бывало, тетки, дядьки мои на нее накинута:

— Калечите ее, белоручкой растите, ничего не умеет делать. Намучается в жизни, потом спасибо вам не скажет. Не во дворцах ей жить предстоит.

— Ладно, — отвечает бабка, — за своими пострелятами смотрите. На сиротку-то насели все, больно умные, ученые...

Упрямая я была ужасно и настойчивая. Уж если чего захочу — подай, и кончено. И бабка давала. Конечно, я не требовала

ни денег, ни каких-то невероятных вещей, об этом не могло быть и речи. Но вот нужно было мне настоять на своем во что бы то ни стало. Например, я хочу надеть новое платье, а мне не дают — на праздник надо беречь. Я — в рев, целый день могу реветь. В ванную, бывало, запрусь, сижу впотьмах на полу и реву. А бабке жалко — я-то слышу, как она за дверью мается. Тут вступает дядя Коля — он был педагогом в школе, где я училась:

— Не смейте входить к ней!

— А вы рады над сироткой издеваться!

— Пусть ревет, не входите.

— Еще чего, вас не спросила! Воспитатели!..

А я сижу — я и всю ночь могу сидеть. И вот начинаю воображать, как я здесь умираю и как они все будут плакать на похоронах... И вся обида уже забывается — не помню, с чего все и началось, жалею себя. Вижу, как лежу я в гробу, в белом платье, вся в цветах, а бабушка идет за моим гробом и плачет. И так мне становится ее жалко, и плачу я уже от жалости к ней.

Такие истории повторялись довольно часто.

— Ну, уперлась — хоть кол на голове теши! Вся в мать, яблочко от яблони недалеко падает.

Что и говорить, характерец у меня, конечно, был не сахар. Но, кроме всего, с раннего детства, будучи подкидышем, я должна была защищать свое место в жизни. Я всегда болезненно чувствовала, что, имея обеспеченного отца, из милости живу на последние бабкины гроши. Меня, ребенка, это унижало, и я тем более старалась сохранить свое достоинство.

Если же ставила перед собой цель — то шла напролом, отстаивая свою правду, свое право, и тут уж действительно — «хоть кол на голове теши».

Все эти качества, конечно, не располагали людей в мою пользу, и лишь бабушка своим сердцем и умом простой крестьянки почувствовала, поняла, что за всеми моими капризами, а часто и злыми выходками скрывается горькая обида брошенного ребенка. Вероятно, потому и любила меня больше всех своих внуков, а было их семеро — от двух дочерей.

Внешне меня ничто не выделяло, но, вероятно, это стремление к справедливости давало мне особое положение среди ребят. И конечно, моя очень рано проявившаяся артистичность. Когда я



Галья. 12 лет

пошла в школу, моя первая учительница через несколько дней сказала бабушке:

— Вы знаете, Дарья Александровна, я думаю, что у вашей Гали будет особая судьба.

Квартира наша принадлежала когда-то адмиралу, который в революцию бежал с семьей за границу, оставив всю мебель, — в нашей комнате стояло даже пианино «Беккер». В квартире — пять хороших комнат и огромная кухня с большой плитой, на которой готовили все жильцы (и в которую бабка меня укладывала, когда я была младенцем). Газа еще и в помине не было. Топили дровами. В каждой комнате жила отдельная семья. В одной — я с бабушкой и дядей Андреем, в другой — моя тетка, тетя Катя, с мужем дядей Колей и тремя сыновьями, в третьей жила одинокая докторша, а две

остальные занимала семья Давыдовых: муж, жена и три дочери. Ну и, естественно, одна уборная и одна ванная на всех. Но это считалось еще небольшая квартира, только 14 человек, в других было набито гораздо больше.

Тетя Катя работала бухгалтером в магазине, муж ее дядя Коля — преподавателем физкультуры в школе. Младший сын моей бабушки Андрей был рабочим. Все его считали слабоумным, странным, а он был просто очень добрый. Но в России таких принято считать дурачками. Мой отец, который хорошо зарабатывал, не посылал на мое содержание ни копейки, а Андрей, сам полуголодный, кормил меня. Для него это было нормально, и потому считалось, что он дурак.

Отец мой, с юношеских лет убежденный коммунист, окончил реальное училище, а в 1921 году, семнадцати лет от роду, уже участвовал в подавлении Кронштадтского восстания, стрелял в матросов. Сын потомственного рабочего стрелял в своих. Это оставило страшный отпечаток в его душе, изуродованной ленинскими лозунгами. Всю свою дальнейшую жизнь он упорно искал и, видно, не находил себе оправдания. Каяться, просить прощения у Бога он не мог — в Бога он не верил. А что делает в таком случае русский человек? Он начинает пить. В пьяном виде отец был страшен, и не было тогда в моей жизни человека, которого я бы ненавидела так, как его. С налитыми кровью глазами он становился в позу передо мной — ребенком — и начинал произносить речи, как с трибуны: — Тунеядцы!.. Дармоеды!.. Всех перррр-естрррр-ляю! Мы — ленинцы! За что борр-олись? Мы делали революцию!..

А я стояла разинув рот, слушала, и в этом в дымину пьяном ленинце была для меня вся революция, все ее идеи.

Трагедией его оказалось то, что он не был обыкновенным серым мужиком, морально изуродованным советской властью, — так бы он просто спился и умер где-нибудь под забором. Нет, он был умным и образованным человеком. И как хорошо он знал марксистскую теорию! Но ни знаниями, ни водкой невозможно до конца заглушить голос совести и кровавые видения юности; запачканные братской кровью руки всю жизнь не давали ему покоя.

Все это стало мне понятно гораздо позднее, а тогда я стояла перед ним, и в моей детской душе разгоралось пламя ярости и не-

нависти к нему самому, к его словам, даже к его голосу. У меня бывало непреодолимое желание подойти к нему сзади и ударить по красному затылку.

Конечно, все эти впечатления детства формировали мой характер. На примере всей семьи я видела, какой распад личности, искажение морали, ломку проходят близкие мне люди.

Муж моей тетки — дядя Коля — тоже пил запоями. Умер, попав под автобус. Муж тети Маши, старшей дочери бабушки, — тоже алкоголик, доходил до того, что тащил из дому все, разорил семью и умер от пьянства. А был ведь интеллигентным, умным человеком! И вот все так — какая-то жуткая судьба у семьи.

Родной брат моего деда был рабочим Путиловского завода в Петрограде. Чудесная, большая семья, и, хоть один он работал, всем детям дал образование. Умер от голода во время блокады Ленинграда. Было у него две дочери, я их хорошо помню. Одна вышла замуж, и то ли муж приревновал ее, то ли они в тот вечер поскандалили, только он — пьяный — схватил топор, зарубил жену, потом ее сестру, а потом и себя зарезал. Это — тоже в моей семье. Да что говорить, при нашем беспробудном российском пьянстве люди чуть что — кидаются в драку или лупят чем попало. Через все мое детство прошел мутный пьяный угар, и с тех пор я ненавижу пьяниц, для меня это самое страшное, что только может быть в человеке. Треские речи и пьянство — вот чем полна сейчас Россия.

Кронштадт — город на острове, маленьком острове Котлин. Город-крепость, всего несколько улиц. Из Ленинграда раньше нужно было по воде плыть часа два. Сейчас, конечно, быстрее. А зимой надо доехать электричкой до Ораниенбаума, а оттуда на автобусе по льду, через Финский залив. Городок небольшой, много зелени, бульвары, сады. Красивые дома в два-три этажа. В то время самый высокий дом был четырехэтажный. Красивая набережная со зданием Офицерского собрания. Петровский парк с памятником «Петру Первому — основателю Кронштадта». Огромный Морской собор в хорошую погоду виден из Ленинграда. В те годы его превратили в кинотеатр. На площади — памятник адмиралу Макарову, а дальше — большой овраг: туда мы ходили зимой кататься на санках.



Кронштадт, Морской собор. Из фондов Музея истории Кронштадта

Сколько ребят набивалось в кино на утренние сеансы! Причем всем обязательно хотелось в первый ряд, кидались вперегонки, и я, конечно, со всеми — вповалку. Десятки раз смотрели одни и те же фильмы, знали их наизусть, а переживали всякий раз заново. «Красные дьяволята», «Чапаев», «Веселые ребята»...

Это были годы, когда уничтожали, закрывали церкви. Взорвали красивую часовню напротив нашего дома. Я не могла понять почему. Ведь было так красиво — а теперь ничего нет. Ходили слухи, что взорвут Морской собор. В большом соборе Иоанна Кронштадтского хранили картошку. Но и его хотели взорвать, да война помешала, уже не до того было.

Город военный, населен он моряками и их семьями. Гражданское население работает на Морском заводе.

На всю жизнь запомнила я вкус ржаного кронштадтского хлеба. Его выпекали в морской пекарне огромными черными караваем по несколько килограммов — корка внизу такая толстая, пропеченная, а верх блестящий, как лакированный. Вот, помню его — может, потому, что ничего, кроме хлеба, не было? Нет, в самом деле изумительный хлеб, а после войны такого уже не пекли. Мука была дру-



Собор Св. Андрея Первозванного
и часовня Тихвинской иконы
Божией Матери, начало XX века.
Фото из фондов Музея истории
Кронштадта



Часовня была восстановлена
в 2009 году. Иконостас принесен в дар
почетным гражданином Кронштадта
Г.Вишневской, свидетелем ее
разрушения в 1934 году

гая, и пекли уже другие люди, да и пекарня морская, кажется, закрылась — другую построили.

Недавно в Париже зашла в русский магазин недалеко от моего дома, смотрю — лежит круглый черный хлеб, не такой, конечно, огромный, как пекли у нас в Кронштадте. Как мне его захотелось! Купила — еле добежала домой, отрезала кусок — еще теплый, — намазала маслом, и — с чаем сладким! Уж как блаженствовала! Пока всю буханку не съела, не могла остановиться. Это был тот самый вкус — вкус довоенного кронштадтского хлеба.

Кронштадт населен моряками, армейских там мало, и матросы их презируют. Часто приходилось наблюдать на улицах дикие драки, особенно по увольнительным дням, когда матросы с кораблей идут в город «гулять». Напьются пьяными — и в драку с солдатами,

да не в одиночку, а группами. Снимают ремни и — пряжками, случилось, что и до смерти.

Дом наш набит коммунальными квартирами, как муравейник. Я всегда жила в коммунальных квартирах, но никогда не знала, что такое — ключи прятать. Бабушка учила меня, что самые страшные два греха — вранье и воровство. И до сих пор я ничего не могу закрывать, не знаю, где ключи находятся, — у меня просто отвращение к этому вот орудию — ключу. Почему нужно все запиравать? Воруют? Так я до сих пор не могу к этому привыкнуть. Мы не только комнаты, мы и входные двери не запирали.

В доме все знают жизнь друг друга, все друг к другу ходят, живут как одна огромная семья. Секретов быть ни у кого не может: там муж жену отлупил — уже знает весь дом; где какой крик — сразу все вмешиваются, обсуждают... Живут на виду, все нараспашку, не стесняются ни детей, никого. Как правило, семья имеет одну комнату: здесь еще молодые отец и мать спят, а сын уже приводит жену в ту же комнату, ставит кровать за шкаф, здесь же и дети рождаются.

Так мы все жили.

В нашей комнате — бабушкина кровать с огромной периной, тут же рядом кровать Андрея и ковровая красная оттоманка, на которой я сплю, но чаще я — с бабушкой вместе. Бывало, не спит она ночью — ревматизм мучает, я залезу к ней, натру мазью, в перине тепло, как в печке, а ей не спится:

— Спой что-нибудь, Галя...

Ну, я тихонько пою разные жалобные песни.

На окраине, где-то в городе,
Я в убогой семье родилась.
Лет семнадцати, горемычная,
На кирпичный завод нанялась...

Бабка всплакнет, а я еще больше стараюсь:

Маруся ты, Маруся,
Открой свои глаза!
А доктор отвечает:
«Маруся умерла».

На таком репертуаре, бывало, и заснем.

Были у нас дубовый обеденный стол, пианино и большой зеркальный шкаф, который в один прекрасный день, к моему удивлению, объявил мне, что я красива. Все это от адмирала нам досталось. И конечно, огромный самовар — на ведро воды. Бабушка три раза в день его ставила — не любила из чайника пить.

Наша основная еда — суп, хлеб да чай, а то и на чай денег не хватало. Бабушка тогда нарежет морковку, посушит, потом в чайник бросит, зальет кипятком — с непривычки, правда, пить противно, но цвет все-таки есть, а ко вкусу потом привыкаешь. Сливочное масло мы покупали только в день полочки, а так ели постное. Я и до сих пор его люблю. Андрей, бывало, идет с работы в обеденный перерыв домой обедать. А чего обедать-то? Обедать нет. Он это знает, но все равно домой идет. Не там где-нибудь, сидя на камне, хлеба съест — нет, домой идет. Сядет за стол, нальет в блюдо постного масла, посолит, помакает хлеб, запьет кипятком пустым, потому что сахар тоже не всегда есть, — и опять до вечера на работу. Пишу сейчас, вспоминаю его, и сердце кровью обливается. Работал всю жизнь как вол, жил впроголодь, и никогда ни одного слова упрека я от него не слышала — а ведь была лишним ртом при той бедности, как камень на шее висела.

Шкаф наш казался мне вместилищем несметных сокровищ. Бабушка прятала в нем старинные платья, шляпы — наверное, адмиральшины. Там же, завернутое в полотно, хранилось мое будущее приданое: шесть серебряных ложек, серебряная сахарница и щипчики для сахара. Бабушка говорила, что продаст все, только не пианино и не эти серебряные вещи — Галино приданое.

Но настали времена, когда уже нечего было продавать, и мое «приданое» уплыло в Ленинград, в торгсин (магазин, куда советские граждане сдавали золото и серебро, а взамен получали бумажные боны, на которые там же можно было купить продукты).

Потом пришел день, когда из нашего волшебного шкафа бабушка вытащила икону Божьей Матери в серебряной ризе, украшенной бирюзой и жемчугом. Я только помню ее бело-голубое сияние и что очень трудно было ломать ризу, а требовалось почему-то обязательно превратить ее в бесформенную массу, иначе

в торгсине серебряные оклады не принимали. И бабушка плача сдирала жемчужинки и бирюзовые камешки, гнула, мяла серебро и все что-то шептала, а сам образ потом запрятала куда-то далеко.

Все с нетерпением ждали лета — ездил тогда бабушка за ягодами и грибами за Ораниенбаум, в Копорье. Соберется компания — несколько старух, и в лес дня на два, а когда они возвращаются, мы, дети, их встречаем на Кронштадтской пристани. Корзинки большие, полные, тащим через весь город домой, потому что в автобусы с ними не пускают, а другого транспорта нет. Так за лето несколько раз. Как белка тащит все в свое дупло. Платить за лесное добро не нужно, а труда своего не жалко. Зато на зиму — бочки соленых грибов, сушеные грибы, замороженная клюква мешками. Ягод наварит бабушка — конечно, без сахара: денег на него нету. Все это — огромное подспорье. До сих пор мой любимый суп — из сушеных грибов, с перловой крупой и картошкой.

И еще варила она соленую треску — самая дешевая рыба в России и сейчас: 30 копеек килограмм. Сначала она ее два дня вымачивала, потом варила — вонь такая идет! На весь дом. Соленая треска очень сильно пахнет. Потом покрошит ее в кастрюлю, положит туда вареную картошку, лук, постное масло... Вот красота! Я и сейчас могу это съесть после самого изысканного французского обеда. На том, пожалуй, и заканчивается наше меню, если не считать еще супа из селедочных голов, гречневой каши и, конечно, пирогов с капустой в праздники.

Интересная семья жила в нашей квартире — Давыдовы: крепкая, зажиточная деревенская семья. Три дочки-погодки, средняя — моя ровесница. Он работал шофером на грузовой машине, что было выгодно. Перевозит продукты — глядишь, украдет кусок мяса, домой тащит. А жена его, тетя Маруся, на кухне потихоньку варит потом это мясо на примусе. И спиной прикрывает. А дух-то идет! Я так любила смотреть, как дядя Филя ест! Приду к ним в комнату и смотрю. Они никогда не угощали. Жадные были. И уж они-то всё запирали. В войну она умерла от заворота кишок, несчастная.

Был у моего покойного деда приятель. Звали его Иван Глот. Тоже рабочий и пьяница горький. Я даже и не знаю, где он жил — в общежитии, должно быть, но, случилось, и на улице пьяный



С бабушкой Дарьей Александровной. Кронштадт. 1932 год

ночевал. Он часто заходил к бабушке после смерти деда. И всегда из карманов леденцы вытаскивал — немного, несколько штук. Липкие, в махорке обваленные, — и нам, детям, давал. Руки у него черные, он их никогда и не мыл, а нам это неважно — мы его любили. Зайдет, бабка его накормит — люди бедные всегда делятся. Не то что наш сосед — к нему, к зажиточному человеку, придешь, а он сидит ест, мясо вылавливает — и видит же, что девчонка голодными глазами смотрит, а и корки хлеба не предложит. Потому я в жизни моей ничего ни у кого не попросила.

А бабушка была добрая — кто придет, обязательно накормит чем-нибудь. Кроме Ивана Глота, пьяницы горемычного, еще Алеша-дурачок, юродивый, заходил. Бабушка их в кухне всегда кормила. Бывало, дядя Ваня поест, да тут же в кухне на полу и уснет. И никто не гнал.

В России особое отношение к нищим и к юродивым, особенно в деревнях и провинциальных городах. Божьи люди — их называют. Так вот, допился дядя Ваня до белой горячки, да ночью, в беспя-

мятстве, на перекладине кровати случайно и удавился. Жил он совершенно нищим, хоронили его только бабушка и Андрей. Когда открыли его сундучок, в нем ничего не оказалось, кроме одного листа бумаги — страховка на мое имя в 1000 рублей! Да, велика русская душа. Ведь сам нищий, выплачивал свою страховку, оставил ее чужой девчонке-сироте. Бабушка положила их в сберкассу, и мы понемногу оттуда брали — долго еще, годами. Для нас это были большие деньги, при сорока-то рублях пенсии в месяц.

Иногда на моего родителя находил особый стих, и он желал меня видеть. Тогда ехали мы к нему с бабушкой. Однажды были мы у него в городе Сталинске *. Там строился огромный комбинат, было полно иностранцев, а строили заключенные, лютой зимой 1932/33 года, начало сталинских чисток — я это точно помню, потому что еще не ходила в школу. В школу я пошла на следующий год. Ехали мы поездом несколько дней. Город новый, кругом грязь непролазная, дороги, конечно, как всегда у нас, строят в последнюю очередь. Жили мы в каком-то длинном здании, крыс полно, бабушка все щели битыми бутылками забивала. Да разве от них избавишься? Спали с электрическим светом, но они быстро привыкли, не боялись уже и света. Однажды идем мы по улице с бабушкой, кругом нищих полно, и вдруг она останавливается: сидит нищий старик, большой, в холщовом рубище — это зимой-то! — белый как лунь, с длинной бородой. Бабушка как охнет:

— Владыко! Да вы ли это? Да что же это такое?!

Да как заплачет! Я испугалась, ничего не понимаю, я таких стариков в жизни своей не встречала. Оказывается, это был репрессированный священнослужитель из Кронштадта. Я, конечно, не запомнила его имени, но облик его — в рубище, с протянутой за подаванием рукой — и сейчас перед глазами. Бабушка побежала домой, собрала какие-то вещи, понесла, а отцу все рассказывала, кого она встретила на улице и в каком виде.

Через месяц мы вернулись в Кронштадт, и я поступила в школу.

Школьные годы... Училась как все, никаких особенных увлечений школьными предметами у меня не было. Никогда дома не готовила уроки, легко запоминала то, что рассказывал педагог в классе,

* Название города Новокузнецка с 1932 по 1961 год.